



ЕЛЕНА КАТИШОНОК

# СВЕТ

В ОКНЕ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ  
«ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

*роман*

**Елена Александровна Катишонок**  
**Свет в окне**  
Серия «Самое время!», книга 3

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=7953291](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7953291)*  
*Катишонок Е. А. Свет в окне: Роман: Время; Москва; 2014*  
*ISBN 978-5-9691-1261-2*

**Аннотация**

Новый роман Елены Катишонок продолжает диалогию «Жили-были старик со старухой» и «Против часовой стрелки». В том же старом городе живут потомки Ивановых. Странным образом судьбы героев пересекаются в Старом Доме из романа «Когда уходит человек», и в настоящее властно и неизбежно вклинивается прошлое. Вторая мировая война глазами девушки-остарбайтера; жестокая борьба в науке, которую помнит чудак-литературовед; старая политическая игра, приводящая человека в сумасшедший дом... «Свет в окне» – роман о любви и горечи. О преодолении страха. О цели в жизни – и жизненной цельности. Герои, давно ставшие близкими тысячам читателей, неповторимая интонация блестящего мастера русской прозы, лауреата премии «Ясная Поляна».

# Содержание

Пролог	5
Часть первая	7
1	7
2	15
3	26
4	47
5	64
6	75
Конец ознакомительного фрагмента.	81

# Елена Александровна Катишонок Свет в окне

*Светлой памяти Жени*

**СПАСИБО**

*моему другу Вадиму Темкину, блестящему эрудиту, оказавшему мне неоценимую помощь и поддержку.*

**Автор**

*Автор считает своим долгом предупредить, что все без исключения герои – плод писательского воображения, поэтому возможные совпадения имен с реальными случайны и непреднамеренны.*

*Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился, что это картинка. И более того, что картинка не плоская, а трехмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе.*

*М. Булгаков, «Записки покойника»*

© Елена Катишонок, 2014

© «Время», 2014

# Пролог

Далеко-далеко в изогнутом пространстве шелестит ежечасная газета – самое синее море, так далеко в пространстве, как и во времени, когда там жили-были старик со старухой. Как строчки по экрану телевизора, бегут волны, приносятся самые свежие новости, а следом набегают новые, и то, что было новостью, уже потеряло новизну и пропало, не оставив следа на песке, – да и нигде. Потому и говорят: «как в воду кануло».

Волны бегут уверенно и ровно, но они поседели. Когда нет ветра, то видно, что синее море подернуто сединой. Ему так много лет, что даже знаменитый Тацит благосклонно кивнул – упомянул о его существовании. Может быть, только янтарь древнее моря: волны приходят и уходят, полируя его поверхность, а камень остается. Или это спор курицы с яйцом – что возникло раньше, море или сосны? Если бы сосны не роняли на песок смолу, волны не смогли бы шлифовать медовые ступки до прочности камня. Но откуда взяться соснам, если бы прежде не возникло море?

Никто не знает родословной моря – ни Тацит, ни Саксон Грамматик. Волны равнодушно и неумолимо смывали следы, кровь и ржавчину копий крестоносцев, как позднее смывали и уносили в море корабельный мусор и клочья парусов, а еще позднее – жирную радугу мазута и угольную крошку,

так же лениво и спокойно, как следы немецких сапог – сначала в 1914 году, потом в 1941, а в 1945-м это были следы красноармейских кирзачей. Волна с поседевшим гребнем привычно разравнивала песок. Волны не знают ни выходных, ни праздников, ни усталости.

Море пережило старика со старухой – они в молодости жили с детьми на даче и гуляли на закате по мокрому песку; оно переживет их потомков – весь клан детей и внуков, которые взяли за обыкновение тревожить ночной сон автора, придумавшего их. Нужно включать лампу, заслонив на секунду глаза, и смотреть в темное окно. Довольно; их давно нет в живых, ни старика, ни старухи; отчего же не уходят они из памяти, они и потомки их? Чего ждут, где бы они ни находились в этот момент – на берегу моря, в поезде, театре – или стоят на крыльце дома, где жили одной большой семьей: отец с матерью, две сестры и три брата? Нет их больше: у них выросли и повзрослели дети, родились внуки... Но внуки нетерпеливо смотрят в будущее, а их родители – на своих детей и, значит, тоже в будущее; только старшие – три брата и обе сестры – смотрят туда, где уже прошла по песку волна и все смыла.

Набегают следующая, но они смотрят – и ждут, словно что-то осталось недосказанным.

# Часть первая

## 1

По комнате летала птица. Не металась бестолково, не билась в окно, а ровно, как по заданной орбите, кружила вокруг погашенной люстры. Нет, не птица – летучая мышь!

Лариса схватила со стола газету и замахнулась, не решаясь бросить. Протянула руку к выключателю, и как только вспыхнул свет, летучая мышь кинулась к окну, сложилась быстро, словно зонт захлопнули, и пропала в складках гардины. Разбухшее от дождя окно поддавалось плохо. Только Лариса открыла первую створку, как откуда-то сверху свалился темный комок, и она снова испуганно захлопнула окно. Теперь зверек бился между рамами и сердито стрекотал, будто за стеной печатали на машинке.

Из ванной комнаты вышел Герман, вытирая руки, и весело удивился:

– С кем воюешь?

Чуть приоткрыл первую раму, ловко набросил полотенце на гневно стрекочущую тварь и так, с трепещущим комком у груди, распахнул ночное окно и легко взмахнул полотенцем.

...У Германа все и всегда получалось легко. Чем только он не занимался в жизни! Увлёкся кино и начал снимать кар-

тины. Открыл ресторан – и через неделю там яблоку негде было упасть. Ничего не смысля в деревенском хозяйстве, за год превратил отцовский хутор в образцовый. Даже в ссылке он не только выжил, но и самозабвенно играл на скрипке, словно за окном видел милый сердцу вереск вместо багульника... В молодости пылко влюблялся и умел влюбить в себя. Очертя голову бросился в политику и состоял в каком-то подпольном кружке, но об этом Лариса знала только с его слов. Она не принадлежала к тем женам, которым нужно во что бы то ни стало разузнать все, что касается прошлой жизни мужа, а что не удастся разузнать, то домыслить, чтобы потом себя же изводить. Какое имеет значение, с кем Герман спешил на свидание, кому дарил цветы, если это было так давно, что они не знали друг друга?

Какие только кульбиты не проделывала с ним судьба! Еще год назад они жили втроем в коммунальной квартире, в тесной комнатухе, единственным достоинством которой был высокий потолок. Все стремительно переменялось в несколько дней, и скромный работник переплетной мастерской № 4 превратился в первого кинематографиста республики. На свет вытащили киноленту двадцатипятилетней давности, некогда увенчавшую Германа славой, а его самого, с женой и сыном, извлекли из коммуналки, предоставив оторопевшим соседям биться за освобожденную комнату, и поселили в тихом трехэтажном доме Старого города.

Новое жильё куда как отличалось от прежнего: три ком-

наты вместо одной, парадное, где всегда горит свет и не пахнет мочой, поскольку посторонние войти не могли, а жильцы были люди деликатные, причастные к искусству, культуре и административным эшелонам власти, ведающим этими тонкими сферами.

...В тысяча девятьсот сороковом году Герман лишился дома, родной земли и спасибо, что не жизни, – спустя двадцать лет он оказался на гребне славы. В газетах мелькали статьи с пышными заголовками; имя Германа Лунканса снова у всех на слуху, как в тридцатые годы, когда на экраны вышел кинофильм «Господа хуторяне», сделавший его знаменитым в первый раз. Он пошел дальше: озвучил фильм – и разорился... Сегодня его называют «отцом нашего звукового кино» и приглашают на открытие новой киностудии. очередной поворот судьбы вовсе не вскружил Герману голову. Точно так же он уходит по утрам в переплетную мастерскую, и когда ему предложили должность при киностудии, он обещал подумать, а на самом деле просто выбросил соблазнительное предложение из головы так же легко, как летучую мышь в окошко, твердо выучив, что чем ниже сидишь, тем легче падать.

...Вытряхнул полотенце в окно и остаток вечера успокаивал жену. «Откуда, – беспомощно повторяла Лариса, – откуда она здесь?»

Герману тоже трудно было представить, что в городской квартире летучие мыши ведут себя так же свободно, как в

деревенском амбаре. Вспомнился августовский закат на хуторе, когда на оранжевом небе вдруг возникал, словно подкинутый чьей-то рукой, черный птичий силуэт; потом второй, третий, и только по неестественному зигзагообразному полету, больше похожему на падение, становилось понятно, кто это. Безвредные, в отличие от настоящих мышей, зверьки пугали своим видом – и только.

– Они безобидны, – произнес вслух. – Мало ли откуда... В окно влетела, подумаешь!

– Да закрыты были окна! – почти выкрикнула жена. – Вон как льет...

И не только лило – сверкало и грохотало весь вечер. Герман, с перекинутым через плечо полотенцем, сидел на диване и, задумчиво вертя перстень на мизинце, продолжал:

– Вот эта дуреха и перепугалась – они ведь чувствуют грозу – влетела и спряталась где-то; хотя бы в ванной. Я пошел умыться, испугнул – она и кинулась сюда.

И становилось легко от его уверенного голоса, от привычного верчения кольца – печатка с вензелем то показывалась, то исчезала внутри ладони, – а чтобы совсем успокоиться, Лариса проверила всю квартиру и даже заглянула в печку, никогда не топившуюся по причине центрального отопления.

И забылся бы скоро неприятный эпизод, если бы не тревожный, скомканный разговор на следующий день в Ботаническом саду, который был для Ларисы тем же, чем для Гер-

мана переплетная мастерская, с той лишь разницей, что Герман никогда прежде не знал, как переплетают книги, в то время как она всегда любила работать с землей, будь то родительский хутор, скудный огород в сибирском поселке или участок Ботанического сада.

Анна Яновна была идеальной напарницей: выносливой, хотя старше Ларисы, работающей и немногословной. Они сняли халаты и перчатки, сели на скамейку под кленом и развернули пакеты с бутербродами.

– Из оранжереи двое практикантов ушли, – сказала Лариса, – кого-то теперь переведут туда.

– В оранжерее хорошо, когда холода начнутся, – отозвалась Анна Яновна, аккуратно стряхнула в ладонь крошки и бросила голубям.

– Я бы пошла, – кивнула Лариса и добавила с коротким смешком: – Если, конечно, там летучих мышей нет.

– Откуда же?

– А откуда у нас в доме?..

Выплеснув остывший чай, завинтила крышку термоса и в нескольких фразах пересказала вчерашнее происшествие.

Напарница старательно складывала обертку от бутербродов и, когда начала говорить, смотрела не на Ларису, а на бумагу:

– Вы, Лорочка, к своим давно ездили?

И пояснила, теперь уже серьезно глядя в глаза:

– Плохой знак – нетопырь в доме. Старые люди говорят:

к покойнику. А я сама уж немолода, – улыбнулась на Ларисин негодующий жест, – так я верю. Вы-то с мужем помладше меня будете, ну а родители... Проведайте – вам же спокойней будет.

Лариса в приметы не верила, однако внезапно захотелось съездить в деревню: кончался август, сколько там теплых денечков еще осталось?

Поехали вдвоем. Карлушка отказался – хотел отоспаться после ночных смен, но Лариса заподозрила, что дело не в ночных сменах, а в Насте. «Ему решать, – уговаривал в поезде Герман, крутя перстень на мизинце, – Настя так Настя. Двадцать четыре год парню; что ж, так ему и бегать к ней в общежитие? – И продолжал так же легко, словно поддразнивая ее: – Пожилые родители должны вовремя уходить, чтобы дети почувствовали себя взрослыми».

В деревне все было по-прежнему: безнадежно захламленный дом, огород, заросший сорняками, – пололи его редко, чтобы не отрываться от постоянной ругани друг с другом, – и одичавший сад. Мать и отец были в полном здравии, и, как только Лариса убедилась в этом, тут же неодолимо потянуло обратно в город, прочь от многолетнего бессмысленного скандала, который и составлял жизнь родителей. Она наскоро прибрала на кухне и заторопилась в огород, чтобы не слышать, как мать слезливо жалуется Герману на «этого мерзавца», заевшего ее жизнь. Герман прихлебывал кофе и курил, время от времени поворачиваясь к «этому мерзавцу»,

который обрушивал на жену каскад ядовитых слов.

Возвращались поздно вечером, в пустом вагоне. Покоя в душе не было. Утомительная поездка, досада на родителей и стыд за них, оживший, как это случалось всегда при встрече, тайная тревога за сына и зловещие слова напарницы – все это странным образом вернуло к летучей мыши.

– Не переживай, – Герман обнял ее за плечи, – ведь живы-здоровы; что еще надо?

– Почему они не могут, как люди?.. – горько спросила Лариса.

– Потому что – люди, – легко объяснил муж. – А люди – они разные. Соседи, может, в карты играют; а твои – скандалят. Это их и держит. Если кто-то из них один останется, вот тогда худо будет.

...Спустя два месяца Лариса осталась одна.

Герман даже умер легко. Повязывал у зеркала галстук и, продергивая в петлю шелковый конец, спросил с улыбкой: «Как странно, правда?». То ли у своего отражения спросил, то ли у жены, но что именно показалось ему странным, Лариса так и не узнала, хотя накричалась до хрипоты, повторяя: «Что? Что странно?..», пока тащила его, не по-живому отяжелевшего, к дивану, а потом рухнула на колени, уткнувшись лицом ему в грудь. Казалось, если услышит ее крик, то ответит, а значит, останется с ними, не уйдет навсегда с непонятными словами.

Ушел. Умер в день своего несостоявшегося триумфа, так

и не выступив на открытии новой киностудии. Это было так же странно, как необходимость вернуться в дом, где на столе лежит газета с его портретом, и Лариса, стоя под мелким октябрьским дождем, пыталась вспомнить заголовок статьи, словно это зачем-то было важно.

Ленты на венке блестели от влаги. Люди подходили, говорили бесполезные слова и спешили скрыться от дождя и от чужой скорби. Она отыскивала глазами сына. Рядом стояла девушка с волосами до плеч и что-то говорила, опустив глаза: Настя.

Вспомнился не газетный заголовок, а фраза Германа, сказанная в поезде: «Пожилые родители должны вовремя уходить, чтобы дети почувствовали себя взрослыми».

## 2

Письменный стол отец приобрел сразу после переезда из коммуналки, но Карл не помнил, чтобы он сидел за ним. Или не замечал? Настольная лампа с мраморным подножием, тяжелая граненая пепельница – мать отмыла ее до хрустального блеска, – стеклянная чернильница с откидывающейся бронзовой крышечкой – все это почему-то выглядело таким привычным, словно всегда стояло на письменном столе, так недавно появившемся.

Знакомые наручные часы на коричневом кожаном ремешке – выпуклом, хранящем форму отцовского запястья, – праздно лежали рядом с лампой. Маленькая стрелка показывала «12», большая почти дотянулась. Часы стояли, и как только он начал крутить колесико завода, секундная стрелка обрадованно заторопилась.

Теперь письменный стол принадлежал Карлу, так же как и отцовский перстень, который обхватывал левый мизинец и словно был создан для того, чтобы крутить его, если б только что-то вдруг не подступало к горлу, и тогда он старался не встречаться взглядом с матерью.

Сегодня матери дома не было. Вместо того чтобы бессмысленно ходить по квартире или кинуться на кладбище, Лариса поехала на работу. Зная мать, Карлушка понимал, что для нее сейчас легче и нужнее возиться с рассадой, гото-

вить лунки – что они еще там делают в Ботаническом саду? – чем взять в руки отцовскую чашку или подойти к его столу. Он читал, что у какого-то племени есть обычай собрать все вещи умершего и сжечь. Взгляд упал на перстень. Невозможно было представить себе, что он превратится в закопченный плевочек металла. Медленно повертел перстень и выдвинул верхний ящик стола.

Деревянная сигарная коробка с яркими картинками на крышке и пузатыми буквами HAVANA, синяя записная книжка – отец всегда носил ее в кармане пиджака – и... маленький черный резиновый мячик, выкатившийся из дальнего угла так резко, словно возник из памяти Карла и отбросил его на двадцать лет назад, в веселое летнее утро, где отец, молодой и стройный, кричит: «Лови!» – и мячик летит, обгоняя Карлушку, тонет в яркой густой траве, а он, запыхавшись, раздвигает шелковистую зелень и с торжеством приносит отцу трофей – черный мячик с красной поперечной полоской, блестящий от росы. «Лови!» – кричит теперь он и кидает мячик со всей силы, но отец смеясь перехватывает его на лету. Поодаль стоит Пик, черный пес, с вожделием глядя на мячик, и хвост его напряженно ходит из стороны в сторону.

...Тот же – или уже другой? – летний день, и Карлушка бежит со всех ног. Сейчас отец подхватит его и подбросит вверх, а потом поймает и посадит на шею. По гравиевой дорожке бежать нелегко, камешки скользят, и Карлушке ка-

жется, что он обгоняет собственные ноги, а потом встает, и на ободранных загорелых коленках выступает кровь. Отец поднимает его и говорит: «Мальчики не плачут», а на ухо добавляет: «Только изредка, и если никто не видит».

...Одна капля упала на полустертую красную полоску. Никто не видел – ведь мальчики не плачут.

Три ящика были аккуратно высланы зеленым картоном – точно таким же покрывают столы у них в конструкторском бюро, – но пусты; только в правом нижнем лежала черная кожаная папка. Привычных шнурков на ней не было – папка застегивалась просунутым в петлю магнитным язычком наподобие засова, державшим надежно, если судить по потертости корешка.

Внутри обнаружился большой конверт с газетными вырезками; на полях кое-где отцовским почерком были проставлены даты. Хрупкие желтоватые бумажки с выцветшими заголовками были старше черного мячика и самого Карла: «1933, июль», «май 34-го», «1936, 7 ноября». На верхней вырезке слева было объявление в рамке: «Программа кино», а справа – кусок обширного текста, и глаза невольно перепрыгивали с одной колонки на другую:

«“СПЛЕНДИД ПАЛАС”: “Дети счастья”, с участием Лилиан Гарвей и Вилли Фрича.

Готовится к постановке большая фильма “Аве Мария”, с участием знаменитого итальянского тенора Джереми бросился бежать, но пламя уже охватило

*весь низ, отрезывая всякий выход.*

“ПАЛЛАДИУМ”: “Ночь накануне боя”, с участием Анабеллы. Фильма поставлена по роману Клода Фаррера. Немецкая версия. – **Я помог вам потому, что вы моя жена. Моя жена, циркачка, подонок общества! Из-за вас убиты несколько ни в чем...»**

“МЕТРОПОЛЬ”: “Джувльбарс”, фильма на русском языке, с участием артистов МХАТа Черкасова, Наташи Герцог, Файт и Макаренко – **И вы думаете, что я буду жить после этого? – неистовствовал Джереми.**

Готовится к постановке: “Повесть о двух городах”, с участием – **Лестница не достанет до крыши, – раздалось в толпе собравшейся прислуги, но они все-таки бросились на поиски.**

“ФОРУМ”: впервые звуковая фильма “Господа хуторяне”. Вечером “Мадемуазель Лили”, с участием...»

Он тут же забыл о непонятном Джереми и о том, кто исполнял роль таинственной мадемуазель, пораженный скудной обыденностью сообщения об отцовском фильме. Зато в других статьях много и восторженно писали о немом фильме с тем же названием и превозносили его создателей, «гг. Лунканса и Аверьянова». Аверьянов... Совсем недавно Карл слышал от отца эту фамилию; кто такой Аверьянов? Глаза быстро привыкли к старой орфографии и непривычному «фильма» вместо «фильм», и хотелось прочесть все по порядку, а рука уже вынула небольшую стопку писем, и к про-

грамме кино, фамилии Аверьянов и газетам решено было вернуться позже.

Он не сразу догадался, что письма написаны самим отцом. Начал было читать самое верхнее, и его ожгло нежностью и любовью к незнакомой женщине. Он перелистал – каждое начиналось одними и теми же словами: «До свидания, любимая!», как другие пишут: «Здравствуй, любимая!», и такая печаль была в этих словах, что даже не мелькнула мысль узнать что-либо о незнакомке, как и не появилось обиды за мать; это – другое, принадлежавшее только отцу и никому больше, если письма не были отправлены. Да и жива ли она?.. Или отец писал вслед безвременно ушедшей любимой, снова и снова прощаясь с нею?

Что с ними делать, думал он, машинально складывая исписанные листки в конверт с газетными подборками. Перевернул конверт, отложил в сторону и заметил карандашную надпись: «После моей смерти сжечь». Последнее слово было зачеркнуто и сверху надписано: «уничтожить», словно отец вспомнил про бесполезную печку. Относилась ли его воля только к письмам, а газетные заметки просто попали в тот же конверт, Карлушка не понял.

Телефонный звонок прозвенел так резко, что он вздрогнул.

Настя говорила торопливо и решительно, и отчетливо сказанное «уезжаю» он понял не сразу:

– Подожди, – перебил, – я не поним...

– Ну что тут понимать? – голос стал раздраженным. Она помолчала и добавила мягче, но так же торопливо: – Съезжу к родителям, они уже настроились и ждут; вот и все.

Опять сделала паузу, перевела дыхание и продолжала:

– Ты все равно не поедешь – вам сейчас не до меня, лучше побудь с Ларисой Павловной. Я ненадолго еду; через недельку вернусь.

– Я вечером забегу, – сказал Карл, – ты в общежитии?

Раздался короткий смешок:

– Я на вокзале. Тут всего два автомата, и мой поезд через двадцать минут. Я дам телеграмму. Пока!

Неожиданный разговор мешал сразу вернуться к черной папке. Обиделась?..

Они с Настей взяли отпуск, чтобы вместе поехать в Москву, а оттуда – к ее родителям. По правде говоря, Карл намного охотнее поехал бы в Армению или в Грузию, где давно мечтал побывать, однако Настя сказала, что родители ждут, и «вообще как же так, с твоими-то я знакома», что и определило решение, которое так неожиданно отменила жизнь – вернее, смерть.

Он повертел кольцо на мизинце и снова открыл папку.

На твердом, как фанера, картоне с уголками были прикреплены фотографии – матовые коричневые снимки, четкие в мельчайших деталях, какие можно встретить в сохранившихся семейных альбомах. Судя по неровному с одной стороны краю, похоже было, что как раз из такого альбома

они и были вырезаны.

На одном снимке Карлушка увидел отца. Он стоял, положив руку на спинку стула, а на стуле сидел незнакомый человек, похожий на отца не только одеждой, но и чертами лица, только выглядел он чуть постарше. На обороте четким отцовским почерком было написано: *«Нет, не отстал быстрого Аякс от могучего брата»*. Даты не было. Кто такой Аякс, Карлушка не знал, и переводил взгляд с одного лица на другое, словно надеясь найти ответ. Отложил; взял следующую фотографию – и впервые за несколько последних дней улыбнулся: с фотокарточки прямо на него смотрела незнакомая девушка в широком платье. Она стояла посреди густой листвы. Со всех сторон ее окружали ветки, а она смотрела в объектив, чуть склонив голову набок, и не улыбалась, нет, но казалось, что вот-вот улыбнется. Чуть разлохмаченные волосы ничуть ее не портили. Он не удивился бы, обнаружив на обороте слово «Любимая», однако написано было совсем другое: «Ростов-на-Дону, 1917».

А Настя уехала.

Он взял в руки большой снимок, на котором была изображена пара: средних лет мужчина в очках, худой и высокий, и печальная женщина, которой больше подходило слово «дама» – не только из-за старомодного платья с пышными рукавами и высоким воротничком, а просто взгляд у нее был строгим и вместе с тем грустным, да пышные волосы подколоты высоко, как на старинных картинах. На обороте ниче-

го, кроме двух крестиков, каждый со своей датой: 8.4.1913 и 11.6.1936.

В тридцать шестом, когда я родился, мелькнула мысль, а вслед за нею догадка: родители отца. Дед, которого он не знал и в честь которого назван Карлом, и бабушка, так рано – отцу всего четырнадцать лет было! – умершая. Никогда прежде он не видел этих лиц и угадал почти случайно, ибо из рассказов отца запомнил, к своему стыду, не много. То, что сохранилось в памяти, было теснее связано с детским черным мячиком: высокая блестящая трава, молодой отец в тонкой рубашке без воротничка, трудная дорожка из гравия, ведущая прямо к дому с белыми колоннами у входа, где на крыльце стоит мать в легкой шали на плечах. И снова отец, на этот раз со скрипкой, но это уже в Сибири, потому что как раз туда они должны были уехать, чему маленький Карлушка очень радовался: он любил ездить в поезде. До того он бывал только в Городе; это так и называли дома: «поехать в Город», ибо только в Городе были удивительные дома с высокими башнями, похожие на те, что можно выстроить на взморье из мокрого песка; только в Городе – и больше нигде – отец сажал его на высокий табурет в кафе с мраморными столиками, отчего рукам сразу становилось холодно; и только в Городе он катался на карусели, где лошадки перебирали ногами, как настоящие.

В маленьком сибирском поселке ничего этого не было; должно быть, потому сначала и не запомнилось почти ниче-

го, если не считать маленькое высокое – не достать – окно и низкий потолок темноватой комнаты. Спустя некоторое время они переселились в избу с большой печкой, и по мере того как Карлушка рос, печка становилась все ниже, пока он не перестал обращать на нее внимание, потому что появились другие дела. Он помогал матери на огороде (и навсегда проникся неприязнью к этой работе), сдавал экзамены, заканчивал школу – впереди была армия. Никто из них, детей сосланных, не рискнул в пятьдесят четвертом году подать документы в вуз. Карлушка тоже не подал и вскоре стоял совсем голый, ежась больше от стыда, чем от холода, перед медкомиссией, а после этого дома плакал (нет, отец, никто не видел) – из-за собственной неполноценности, повлекшей за собой унижительный приговор: «годен к нестроевой службе в военное время». И все из-за какого-то плоскостопия, которое считал постыдной стариковской немощью.

Он никогда не говорил Насте об этом чертовом плоскостопии.

Ни сибирский поселок, ни военная медкомиссия не имели никакого отношения к детскому мячику, но удивительно, что именно мячик заставил все это вспомнить. Как отец сохранил его?..

Товарищи Карла, с одинаковыми бритыми головами и в новых гимнастерках, разъехались, а он собирал в стопку старые учебники, как вдруг отворилась дверь избы, вошел отец и произнес одно слово: «Домой». И сразу почему-то стало

понятно, что это означает – в Город, каким-то особенным голосом отец сказал это слово.

Карлушка и принял Город как родной дом, стершийся из памяти по малолетству, и когда шел по улицам, ему казалось, что он узнал еще один дом с башенкой, еще один поворот, еще один перекресток.

Одна из улочек привела его к университету, где, он хорошо знал, ему места нет. А если было бы, какой факультет он выбрал бы, какую специальность? Он затруднялся с ответом на вопрос, который никто, впрочем, не задавал. Хорошо успевая по всем школьным предметам, он не отдавал явного предпочтения ни одному из них, а потому проще было держаться традиционного подхода: мальчики, как правило, выбирали техническую специальность, девочки – гуманитарную.

Спустя год, в пятьдесят шестом, оказалось, что в вузах есть место и для тех, кто был сослан. К тому времени Карлушка работал в цехе металлоизделий на электротехническом заводе, где получил направление и характеристику – на технический, конечно же, факультет. Остальное – работа на заводе днем и учеба в университете по вечерам, защита диплома и новая работа, теперь уже в конструкторском бюро, Настя – остальное было относительно недавним.

...Взглянул на групповую фотографию военных в непонятной форме, с надписью в уголке: «1932 год» и отложил в сторону. Под фотографией лежала тонкая пачка плотных ли-

стов, исписанных знакомым почерком. Заголовок был написан крупно, размашисто: «Вагонъ. Сценарий для фильма». Сразу представил мчащийся поезд, в котором едет Настя – одна, без него, – и начал читать.

### 3

Поезд мчался вперед, колеса вагона постукивали, словно каблучки, когда идешь по тротуару. Напрасно сказала, что поезд через двадцать минут. Все равно стояла, как дура, около телефонной будки, ждала – вдруг прибежит: от их дома десять минут ходьбы. Ну, пятнадцать. Надо было сказать как есть: через час. И усмехнулась в вагонное окно: все равно не пришел. Правильно сделала, что поехала; пусть соскучится.

Вспомнила похороны Германа Карловича и дерево с шершавой корой, под которым стояла. Около могилы кружил человек с фотоаппаратом, и сквозь серый дождь ослепительно мелькала вспышка.

За окном стемнело. В окне вагона отражались лампы, фигуры людей, идущих в тамбур, и Настино лицо. Отражались открытая пачка с вафлями и чайный стакан в тяжелом подстаканнике – он медленно полз, тихонько подрагивая ложечкой, по гладкой поверхности столика, не подозревая, что на пол упасть все равно не удастся, а придется притормозить на краю у барьерчика. Настя решительно передвинула стакан к самому окну, и он послушно затих, уже не видя в стекле своего отражения, потому что она задернула занавески. Вытащила «Юность» с новым романом Аксенова, открыла и поставила оба локтя на столик, подперев щеки кулачками.

...Когда спрашивали, откуда она приехала, Настя называ-

ла город в двух часах езды от Москвы. Строго говоря, сама она впервые увидела этот город только в шестилетнем возрасте, когда родители поехали с нею покупать школьную форму; родилась же и выросла в поселке – одном из многих, входящих в состав области. Поселок недавно повысили в звании – он стал называться *поселком городского типа*, а это почти то же самое, что город, уговаривала себя Настя и почти уговорила, поэтому не очень терзалась легкой натяжкой. Лучше так, чем тебя будут считать неотесанной деревенщиной.

Главная улица поселка вела к автобусной станции, откуда всего за час можно было доехать до областного центра. Рядом с автостанцией находился поселковый магазин, а неподалеку трехэтажное здание средней школы и почта. Все мужчины и часть женщин были заняты на торфоразработках, а попросту, как говорили в поселке, работали «на болоте». Настя мать ездила автобусом на шарикоподшипниковый завод, где сидела за конвейером, – все ж лучше, чем болото.

Никому Настя не рассказывала о деревянном доме из грубых темных бревен, с дверью, обитой для тепла войлоком, а поверх войлока клеенкой; в дождливое время дверь разбухла и противно чмокала. Никому – про уборную в огороде, куда вела тропинка среди крапивы или сугробов, смотря по сезону.

Детство запомнилось сплошным летом: сарафан в цветок, косички секутся на концах, мать кричит: «огурцы в

цвет пошли»; осенью в школу. Чернила на краях непроливашки отливали изумрудно-фиолетовым золотом, как навозные жуки, а потом надобность в непроливашках отпала, чернила сменились другими, потому что прежние для авторучек не годились. Еще потом появились толстые «общие тетради» и вытеснили тонкие, в то время как на смену тонким девчачьим косичкам пришла солидная упругая русая коса, «украшение скромной девушки». Эту косу Настена в школьном туалете распускала и завязывала в лихой «конский хвост». Как-то после уроков забыла восстановить украшение скромной девушки и явилась домой с хвостом, за который отец и оттрепал. Попробовал бы с лошадью.

Настя училась хорошо, но не потому что любила школу, а от нетерпения скорее ее окончить и уехать в Москву. Можно и не в Москву – да хоть в областной центр; главное было – уехать, потому что для остающихся один путь: на болото. «Или на конвейер, – вздыхала мать, – как я. Так жизни и не увидишь».

Что и говорить, невидимая жизнь просачивалась сюда редко и скудными струйками. Вдруг, например, в поселковом магазине появились китайские авторучки в прозрачных пластмассовых гробиках без надежды быть купленными, потому что стоили семьдесят пять рублей старыми в отличие от отечественных фирмы «Союз» за четырнадцать (рубль сорок новыми). Родители не сговариваясь подарили Настюхе дорогую диковину, чтобы поощрить рвение в учебе. Именно

«не сговариваясь», в результате чего у дочки появились две китайские авторучки: бежевая и бордовая. Бабка взывала: это ж туфли можно было купить! Тем более обидно было, что перед уроком физкультуры Настя оставила второпях бежевую ручку на парте, а после звонка, как ни искала, найти ее не смогла. Осталась дорогая бордовая авторучка и стойкая антипатия к физкультуре.

Она училась бы хорошо и без роскошной ручки, как и другие одноклассники, одержимые идеей уехать в Москву. Они сосредоточенно вели конспекты уроков, задавали учителям серьезные вопросы и оставались после уроков решать особо сложные задачи. Налегали на внеклассное чтение. Нельзя сказать, что они были дружны, скорее наоборот: мешало неизбежное соперничество. Их спаивало единство лошадей, мчашихся в одной упряжке. Несмотря на то, что одни были одарены способностями, а другие брали зубрежкой и усидчивостью, цель была одна, а потому о ней как-то не принято было говорить. В воздухе плавали слова «идти на медаль». На медаль шли, как на штурм крепости и одновременно как на костер, поскольку это означало полный отказ от нормальной жизни, в том числе от разрешенных ОблОНО танцев в актовом зале школы, ибо даже ОблОНО не могло притушить ликование от одного только слова: «танцы». Школьные вечера с танцами на десерт привлекали всех, кто не думал о медали. И хотя были разрешены танцы только самые стерильные, куда попали вальс, танго и наполовину сомнительный фокс-

трот, как-то получалось иногда, что этот наполовину сомнительный вдруг перерождался в разудалый чарльстон. Так же непонятно было внезапно гаснущее электричество во время танго. Конечно, оно довольно быстро загоралось, но причины поломок так и оставались невыясненными.

Ах, школьные танцы! Слово «балы» давно вышло из употребления, да и впрямь едва ли было применимо там, где кружились пары, одетые в школьную форму, ибо нарушивший это правило тут же с позором изгонялся из зала. Отличник на танцах был подобен той редкой птице, которая едва ли долетит до середины Днепра. Однако случалось и такое, случалось: некоторые отличники, забыв про поход на медаль, внезапно отдавали себе отчет в существовании противоположного пола и в этом случае, как говорила завуч, «срывались с цепи».

Слово «ухаживание» осталось так же далеко в прошлом, как и «балы». На смену ему пришло словосочетание «взаимоотношения полов», от которого делалось стыдно и взгляды невольно упирались в пол. Тем не менее, эти взаимоотношения, говоря тем же языком, «имели место» и проявлялись в трех формах: дружить, ходить и гулять – по восходящей; или, наоборот, по нисходящей, как посмотреть.

К тому времени, как отличники начали «срываться с цепи», Настина коса уже достигла пояса. Примерно тогда же выяснилось, что девушка обладает еще одним сокровищем, ценность которого потеснила даже косу. Сокровище называ-

лось «честь», и его нужно было беречь как зеницу ока. Девушка, не сумевшая это сделать, оказывалась в ситуации сапера, который ошибается только один раз, при этом девушке приходилось намного хуже: на ее долю выпадала не смерть, а несмыаемый позор плюс исковерканная судьба, что похуже смерти. Интересно, что от мальчиков вовсе не требовалось беречь честь, и последний представитель мужского пола, которому это вменялось в обязанность, был Петруша Гринев из Настиной любимой «Капитанской дочки».

Она много времени проводила в поселковой библиотеке – надо отдать должное, книги там были превосходные. Библиотекарша привыкла к Насте и выдавала ей даже те книги, которые «тебе рано, детка». Тихая и симпатичная женщина так расстроилась, когда девочка разнесла в пух и прах пьесы Чехова, особенно – подумать только! – «Три сестры».

Даже сейчас, вспомнив этот эпизод, Настя возмущенно вспыхнула. Сидели и ныли: «В Москву! В Москву!». А что мешало, спрашивается? Сколько лет всем голову морочили; небось пришлось бы на болото отправляться – или на шарикоподшипниковый, за конвейер, – быстро собрали бы чемоданы. Примерно так она и выпалила библиотекарше. Жалко тетку, она-то здесь при чем.

Хорошо, что досталось боковое место, а то пришлось бы выслушивать вежливые вопросы: вы, девушка, работаете или учитесь? Где? А куда вы едете?.. По соседству долго и хлопотливо гнездилась семья с простуженным ребен-

ком. Когда, наконец, перестали шуршать обертками и усе-  
лись, мальчик опрокинул стакан с чаем. К этому времени  
уже выстроилась очередь в туалет, женщина перестала про-  
тискиваться мимо стоящих, кашель у мальчика немного по-  
утих, и он сказал сиплым голосом: «Я какать хочу». Настя  
подхватила сумочку, полотенце и направилась в другой ко-  
нец вагона.

Устроившись на верхней полке, она попыталась читать,  
но в голове как-то сам собой начал репетироваться разговор  
с родителями. Это счастье, что отцу дали, наконец, новую  
квартиру – в старый дом она ни за что Карла не пригласила  
бы; еще не хватало. А так – чем богаты, тем и рады; поселок,  
да, но – городского типа. И все же квартира – это счастье  
номер два, а главное счастье – это что она не там.

Нет, на медаль Настя не рассчитывала. «Способности  
средние, усидчивость исключительная», – написали в ха-  
рактеристике. Исключительной усидчивостью медали не до-  
бьешься, а без медали усидчивых в Москве, как говорила  
бабка, по тринадцати на дюжину кладут, да еще не берут; и в  
Ленинграде то же самое. Зато в столицах союзных республик  
тоже есть университеты. С Москвой, конечно, не сравнить,  
зато и поступить легче будет.

Мать насторожилась, однако Настя назвала ее родной го-  
род («заодно хоть посмотрю»), и та обрадовалась, враз по-  
молодев от улыбки. «Бог даст, поступишь! А главное – не на  
конвейер, – повторяла она, как заклинание, – оттуда уж не

вырваться...»

...Вагон постепенно стихал. Уснул кашляющий ребенок, и родители долго спорили шепотом, кому с ним лечь. В отдалении слышались мужские голоса. Лязгали откидывающиеся диванчики, щелкали замки чемоданов. Хлопала дверь в тамбур, оттуда несло холодом и табачным дымом.

...Два с небольшим года назад Город встретил Настю Кузнецову приветливым летним дождиком. От вокзала до университета – несколько кварталов, но она не торопилась, а жадно смотрела на этот непривычный город: вдруг она провалится, вдруг придется ехать назад?!

Подала на иняз, как и собиралась. Не потому что страстно любила английский язык, а веря в исключительную свою усидчивость, которая любой язык может одолеть, даже тот непривычный, что звучал вперемежку с русским на улицах. И конкурс оказался не таким зверским, как в Москве, однако Настя получила тройку на самом первом экзамене, что было равноценно провалу. Стало быть, домой, на болото?..

Город не пускал. Нипочем не хотелось отсюда уезжать. Подать бы на вечернее отделение, однако туда принимали только работающих. Так в чем же дело?..

Осуществился кошмар матери: Настя работала на конвейере. Работа чистая, никаких тебе шарикоподшипников – она попала в цех по сборке телефонных аппаратов на крупнейшем заводе республики. И место в общежитии нашлось, и на вечернее приняли. Исключительная усидчивость не мешала

посещать вечера танцев при заводском клубе, где она познакомилась с молодым инженером из конструкторского бюро. Инженера звали смешным именем Карл, до сих пор знакомым только в сочетании с фамилией Маркс, однако Карла Лунканса называли Карлушкой, что звучало совсем как Павлушка.

Представила Карлушкино лицо со свежим порезом от бритвы – после кладбища они не виделись – и вся досада вдруг куда-то подевалась. Чего она накинулась на него, в самом деле? Не надо было уезжать, конечно, но тогда неизвестно, как бы все повернулось. Ведь родители до сих пор не знали, что она учится на вечернем, как не знали про завод. Попробуй скажи, сразу посыпались бы упреки: мол, могла бы найти институт поближе. Особенно разорялся бы отец, хотя сам он нашел себе жену не «поближе», а как раз в том городе, который Настя выбрала для учебы. Скандал был бы неизбежен. Поэтому Настя ездила домой только два раза, ссылаясь на студенческую перегруженность: то надвигалась сессия, из-за которой она не спала ночей, то нужно было готовиться к очередному семинару или факультативу (оба слова действовали на родителей гипнотически), то – надо же и отдохнуть – «ездили с девочками на взморье». Зато письма с отчетами об успехах писала регулярно. Как легко и быстро одна недоговорка влечет за собой другую, пока все вместе не обрастает толстым слоем вранья! Тем не менее, все шло как нельзя лучше, если бы неожиданно не вознамерилась прие-

хоть мать. Страшно подумать, чем это могло бы кончиться, однако не кончилось ничем, ибо не началось, потому что захворала бабка, и матери приходилось наведываться к ней в старый дом каждый день. Насте ничего не оставалось, как обещать, что приедет на октябрьские, причем не одна, а «с парнем, мы давно дружим». И вот опять: ну как скажешь, что они с Карлушкой не только дружили и ходили, но начали гулять? – Никак. Зато написала: «Ему двадцать шесть лет, инженер», твердо зная, какой магической силой обладает последнее слово, и что на шесть лет старше нее, тоже всем понравится.

Заинтригованы были не только родители, но и хворая бабка – ей даже полегчало.

...Настя не сразу поняла, что поезд стоит. Отъехала с лязгом дверь тамбура. Кто-то, пахнувший холодом и сыростью, тяжело протопал по проходу. Скорей бы закрыли; дует. Будто услышав, поезд свистнул и так плавно двинулся вперед, что она не почувствовала толчка.

Бабке вигоневую кофту, матери безразмерные чулки (достала на заводе с переплатой) плюс янтарную брошку; отцу – бутылку рома. Гостинцы – зефир в шоколаде, конфеты «Красный мак» – объеденье.

Позвоню Карлушке из Москвы, перед автобусом.

А предкам так и сказать, – она зевнула, натягивая одеяло на голову: мол, у него отец умер. Потому и не смог приехать. Поймут, что серьезный.

Быстро и неслышно прошел проводник – отнес белье.  
Вагон угомонился.

Он дочитал сценарий до конца и долго сидел в сгущающейся темноте. Сквозь занавески было видно, как в доме напротив загораются окна. Карлушка включил лампу. Окно потемнело – словно ослепло, стало неинтересным. У черного мячика выросла четкая овальная тень на гладкой поверхности стола. Меньше теннисного, он легко умещался в ладони; выпускать не хотелось.

Карлушка опять перелистал исписанные страницы. От включенного света волшебство не развеялось. Нашел строчки, которые, как оказалось, инстинктивно искал.

*«Зажигается свет в вагоне. Окна темнеют. Оказываешься, на улице уже не сумерки, а настоящий вечер, и от этого не сразу понимаешь, в какую сторону идет трамвай. Ему навстречу молча движутся уличные фонари. Теперь в окнах отражается весь вагон. От этого кажется, что народу стало вдвое больше. Сутулый кондуктор в надвинутой форменной фуражке идет, как матросы ходят по палубе: медленно, уверенно и чуть враскачку. Его двойник в окне идет точно так же, и когда кондуктор поворачивается в правую сторону, двойник, передразнивая, поворачивается влево.*

*Остановка. В раскрытых дверях четко вырисовывается темно-синий вечер. Крепкая рука цепко хватается за блестящий латунный поручень, а вторая втаскивает и ста-*

*вит на верхнюю ступеньку тяжелую корзинку, полную яблок. Кондуктор спешит на помощь и переносит корзинку к сиденью, на которое, отдуваясь, тяжело опускается хозяйка яблок – плотная женщина, обмотанная по-деревенски большим клетчатым платком. Ищет в кармане кошелек, достает мелочь, и клетчатый двойник в окне протягивает кондуктору деньги. Тот дергает инурок, и дверь захлопывается, отсекая уличную темноту. От толчка фигуры сидящих немного клонятся в одну сторону, как и корзинка с яблоками, и несколько щекастых плодов катятся по полу. Хозяйка всплескивает руками.*

*Барышне, сидящей напротив, очень хочется засмеяться. Она улыбается, ловит ладонью катящееся к ней яблоко и подает хозяйке. Гимназист на площадке ловко подхватывает другое. Трамвай замедляет ход и скрежещет у следующей остановки. Гимназист распахивает дверь и так, с яблоком в руке, спрыгивает в темноту, приветственно помахав рукой тетке в платке...»*

Стукнула входная дверь. Карлушка сунул в ящик папку, мячик и пошел встречать мать.

Если бы существовали традиции скорби, как существуют традиции праздников! Горе, даже если призрак его уже вырисовывается на горизонте, если все знают, что оно неизбежно, – горе все равно ошеломляет. Если же никто к нему не готов, а главный участник, напротив, готовился к празднику,

завязывая галстук, – в такой момент удар судьбы еще болезненней.

Когда же остается позади печальный обряд погребения, на смену горю приходит скорбь, как пепел, который остается на месте пожара. Это и есть самое страшное и самое трудное для оставшихся, ибо если в беде они вместе, то разделить скорбь умеют далеко не все.

Мать и сын скорбели в одиночку – не от отчужденности, а щадя друг друга. Лариса рассказала, что ее временно перевели работать в оранжерею, и, конечно, это лучше, чем снаружи, потому что скоро заморозки; в выходной надо бы съездить к старикам в деревню. Продолжала говорить – не столько чтобы заинтересовать сына, а боясь молчания. Карлушка нарезал хлеб (это всегда делал Герман) и ответил неожиданно, что поедет с нею. Мать хотела было спросить про Настю – так трогательно, что она пришла на похороны, – но не спросила, боясь заплакать. Поняла: Карлушка никуда не уходит, чтобы не оставлять ее одну. Молча обняла сына за плечи и отстранила, отвернувшись к плите. Какой он... взрослый. И весь, весь в отца – переживает молча, по лицу и не скажешь ничего, а ведь думает о том же, что и я. Подняв глаза, увидела, что сын улыбается, и эта неуместная улыбка резанула по сердцу обидой и болью.

Карлушка не заметил. Он все еще был в том вагоне – любовался барышней, поднявшей с пола яблоко, видел накрепившуюся корзинку, с улыбкой наблюдал за теткой в платке,

за подвыпившим мастеровым, то и дело роняющим голову на грудь; наблюдал, как невозмутимо идет по проходу кондуктор и в стекле отражается его сутулая фигура в мундире, фуражке и с сумкой на ремне, косо пересекающем живот. Странное чувство: он словно смотрел фильм и вместе с пассажирами видел дома, больше деревянные, но и каменные тоже, церковь на углу, как раз напротив остановки, и хотя на улице светло, окна церкви светятся уютно и неярко. Видел проплывший мимо парк и трактир, из которого вышли в обнимку два субъекта; видел, как незаметно и властно улицей завладел вечер, в котором почти скрылись две лавчонки, аптека, табачный киоск, да и что там показывать, в самом деле? – однако скрыться полностью не удалось, потому что зажглись фонари, торопливо выхватили из темноты киоск и аптеку, а потом осветили другую улицу, куда как раз свернул трамвай. Барышня то смотрела в окно, то на отца – или на него: он стоял рядом с отцом и успел тайком подмигнуть дерзкому гимназисту, который утащил яблоко и был таков. Он видел, как за окном плыли фонари – вначале медленно, потом быстрее и быстрее, а трамвай, разогнавшись, вилял вагоном – и все пассажиры дружно, как в танце, ритмично качались то в одну, то в другую сторону, так же как их отражения в стекле, и так хотелось побыть в этом вагоне подольше, что он вернулся к отцовскому столу и снова открыл папку.

В рукописи было много поправок. Отдельные слова и це-

лые фразы зачеркнуты, а на полях узкими, мелкими буквами вписаны другие. Даже чернила отец использовал разные: то фиолетовые, побледневшие от времени, то черные, ставшие по той же причине зеленоватыми.

Нет, Карлушка не выучил сценарий наизусть – он заболел им. Догадался, хоть и не сразу: фильм поставлен не был. Спросил у матери. Лариса рассказала, как отец работал над озвучиванием ленты «Господа хуторяне», как долго составляли, потом переписывали диалоги, и сколько раз из-за этого приходилось перепечатывать текст... «Вагон»? Нет-нет, ты что-то путаешь; «Господа хуторяне» – да; знаешь, роман такой был знаменитый, этого... м-м-м... Вылетело из головы; потом вспомню.

Он и сам догадался, что фильма не было, иначе трудно объяснить, почему сценарий остался в рукописи. Не было фильма «Вагонъ», не было, а между тем он завладел его воображением и не отпускает.

Карлушка помнил эти старенькие трамваи – они дребезжали кое-где на окраинах, а потом исчезли, вытесненные новыми, в которых люди сидели не на противоположных длинных скамейках, а каждый на отдельном сиденье, глядя в затылки друг другу да в окно. В таких трамваях он ездил каждый день на работу, однако в них невозможно было представить ни барышню с яблоком в руке, ни солидного господина в цилиндре, да и за тесноватыми окнами проносился совсем не тот город, который мелькал за окнами старенького вагона

и так живо был увиден отцом.

Октябрьские праздники, которые у них в семье не отмечали, но традиционно называли праздниками, мать и сын провели, не выходя из дому: ливень не переставал, в деревню решили не ехать. Лариса вязала свитер, надеясь успеть к Новому году, а Карлушка переписывал сценарий в тетрадь, вырвав исписанные листы с электрическими схемами. Писал только на правой странице, оставив левую для исправлений и вставок – боялся, что полей не хватит. Мало-помалу начал понимать, почему отец не отдал рукопись машинистке – его воображение обгоняло неспешный ход вагона. Должно быть, ему все время хотелось – как сейчас хотелось Карлу – дополнить, *ухватить* (а значит, показать сидящим в кинозале) еще одну деталь, один поворот, вон тот переулок – в движении, в движении, в движении.

Прошли октябрьские праздники, и он, не догуляв отпуску, вышел на работу – не столько горя желанием вернуться к проекту, как одержимый мыслью о машинистке и кружке кинолюбителей.

Зачем в городе столько телефонов-автоматов, недоумевал Карлушка. Каждый напоминал о Насте, об их последнем разговоре. Осталось непонятное чувство вины и вместе с тем облегчение от того, что не поехал к Настиним родителям. Он прошел мимо круглой приземистой церкви за оградой, с одним большим куполом и несколькими поменьше, миновал здание трамвайно-троллейбусного управления, киоск на уг-

ду, за которым виднелась опять-таки серая телефонная будка. Из нее выскочил – как вывалился – растрепанный парень: «Вы не разменяете?..».

Несмотря на то что у них дома был телефон, Карлушка хорошо знал эти будки, с бесполезной наклонной полочкой (положишь записную книжку – обязательно соскользнет), с облупленной краской циферблата и косою щелью для монеты справа от него, рядом с которой набита квадратная алюминиевая заплатка. На заплатке выбита надпись: «2 коп.», а под ней совсем еще недавно была другая: «15 коп.», хотя любой автомат принимал как старые «пятнашки», так и новые, еще не утратившие блеска, «двушки». Интересно, были ли на улицах телефоны-автоматы, когда отец задумал «ВАГОНЬ»?.. Смутно всплыла в памяти какая-то картинка – комната с телефонным аппаратом на стене и сердитым мужчиной в цилиндре, с трубкой в руках. Откуда?..

Вспомнил: это старый фильм, где Чарли Чаплин от кого-то убегал и споткнулся! Карлушка так резко остановился, что идущий за ним военный, круто обогнув его, обернулся и посмотрел неодобрительно.

Кинолюбительского кружка при заводе не было. Помог трамвай – вернее, остановка. Люди стояли, переминаясь с ноги на ногу, около здания с большой витриной. Внутри, за стеклом, был прикреплен выполненный тушью лозунг: **«ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ ДЛЯ НАС ВАЖНЕЙШИМ ЯВЛЯ-**

**ЕТСЯ КИНО** /В. И. Ленин/». Слева от витрины ступеньки вели к парадному. Он обошел все четыре этажа. Один из них занимал шахматный клуб, остальные три – квартиры. Каким образом важнейшее из искусств соотносится с шахматами, Карлушка не понял.

Выяснилось, что городского общества кинолюбителей просто не существует. Карлушка узнал об этом на киностудии – той самой, при открытии которой должен был выступить отец.

– Увы, – развел руками человек средних лет с веселыми живыми глазами на одутловатом лице, – пока еще не организовали. Ведь смотрите, что получается, – он медленно шел с Карлушкой по коридору, вода папиросой в воздухе, – люди побывали в космосе, вот в какое время живем! Я не говорю уже о нашей киностудии – сами видите, какое здание отгрохали, к нам отовсюду приезжают киноработники. А вы, – остановился и с любопытством посмотрел Карлу в глаза, – тоже кино хотите снимать?

Покивал, узнав о сценарии, и дал неожиданный совет:

– От сценария до съемки путь непростой, это вам не «пришел, увидел, победил». А вот если вы...

И назвал студию при Союзе писателей, присовокупив энергично: «Там славные ребята собираются – читают, обсуждают; у них и журнал свой. Критики приходят; то-се». На прощанье пожелал удачи и весело взмахнул папиросой.

Интересно, как этот человек реагировал бы, узнав, что ав-

тор сценария – «классик республиканского кино», как писали в газетах об отце. Но как об этом можно было бы сказать? Все равно что говорить о черной папке, неотделимой для него от мячика, прощальных писем и старых фотографий. Неотделимой от отца, от его прошлого.

А сценарий – идти к «славыным ребятам» или не идти – очень хотелось перепечатать.

Проще всего было бы обратиться к машинисткам у них в бюро, но представил на минуту любопытные взгляды или, не дай бог, вопрос: а это вы сами сочинили? – и тут же от этой идеи отказался.

Вечером того же дня он выбежал с мусорным ведром во двор. У жестяного помойного бака стоял сосед, сутулый старик с вислыми усами, и свирепо упихивал внутрь пачку машинописных листов. Мусорник был переполнен. Бумага топорщилась и выпадала, прихватывая яичную скорлупу, картофельные очистки и вялые, скользкие бывшие цветы. Карлушка поспешил на помощь – и как раз вовремя, потому что крышка у бака свалилась и с триумфальным дребезжанием затанцевала по асфальту двора.

– Вот чего бы проще, – сердито пенял старик, – оставить печки; так не-е-ет! А с бумагой что делать? Пионеров не дождешься, помойка – и та забита. Хоть в реке топи, честное слово!

Он передвигался боком, как краб, не разгибаясь и вытягивая руки за рассыпающимися листками.

– Хорошо, что всю рукопись не отдал, – удовлетворенно сказал старик, пока Карлушка водружал на место крышку мусорника. – Новая машинистка, поверите ли, совсем другое дело: печатает аккуратно, быстро – и за те же деньги! Прямо подарок судьбы, в кои-то веки...

Узнав, что молодому соседу требуется машинистка, старик понимающе кивнул:

– Диссертацию пишете? Конечно, тут небрежность недопустима.

Поскольку старик свыкся с идеей Карлушкиной диссертации быстрее, чем тот успел удивиться, то и развеивать его иллюзии не было необходимости.

Сосед жил на первом этаже. В прихожей он достал из портфеля опрятную записную книжечку, выдернул листок из перекидного календаря, убедившись предварительно, что ничего важного на нем не запечатлено, и переписал из книжечки номер телефона.

– Это в Министерстве тяжелого машиностроения, – пояснил, – добраться легко. Зовут Таисией; Тая. Скажете, что от меня. Она, кстати, очень хвалила мою рукопись, ну, да это не важно...

Спохватившись, Карлушка спросил:

– Вы, наверное, роман пишете?..

Старик снисходительно улыбнулся:

– У вас, молодых, только романы на уме...

Шевельнул усами на собственную шутку и продолжал,

укоризненно глядя на сконфуженного юношу с мусорным ведром:

– Нет, молодой человек; я на романы не размениваюсь. Должен вам сказать, что серьезный читатель и не возьмет в руки роман, не-е-ет; и не посмотрит в сторону романа. Я мемуары пишу, если вам интересно. И мне есть что сказать человечеству!

Судя по тому, сколько бумаги ушло в мусорник, человечеству предстояло внимать долго, подумал Карл, закрывая за собой дверь.

Телеграммы не было. Нет, ответила мать, никто не звонил.

Несколько раз он пытался представить себе незнакомых Настиных родителей, но ничего не получалось, словно кто-то затер лица на фотокарточке, и без того чужой.

С родителями все обошлось как нельзя лучше – Настя сама удивилась. Отсутствие «серьезного парня, инженера» было воспринято скорее с облегчением. Узнав, почему не приехал, бабка одобрительно кивнула: «Что ж... Степенный, сразу видать. Где ж это видано, с бабкиных поминок в гости нестись». Отец одобрительно похмыкал, разглядывая этикетку на роме, и уважительно отставил бутылку в сервант, а на стол водрузил водку. Мать посмотрела укоризненно и отвела взгляд.

– Ты кушай, доча, кушай.

– Давай, Настена, наворачивай! – отец раскрепощенно сдернул галстук, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. – Ишь, мать настряпала под завязку, ешь – не хочу.

Твердой, привычной рукой налил себе рюмку. Потянулся с бутылкой к жене, но та покачала головой:

– Нет; налей мне вина, Сережа.

Чокнулись; даже бабка пригубила «сладенького», как в поселке называли вино.

– Ешь давай, – повернулась она к Насте, – чем у вас там студентов кормят, что ты отошала такая. В тот раз приезжала девка девкой, а теперь...

Вот тут-то и удалось ввинтить нужное.

– Студентов кормят кошельки, – весело сказала Настя и

щедро плюхнула себе на тарелку горку винегрета, – а в кошельках у них пусто, разве что в день стипендии что-то шуршит. Вот потому-то я, – она не торопясь прожевала и потянулась за хлебом, – потому-то я и перевелась на вечернее.

Правильное слово подвернулось как-то само собой: перевелась. Поступила, дескать, на дневное, а уж какая жизнь у студента, на тридцать пять рублей в месяц (новыми, конечно), известно. Кто бы и рад подработать, да только когда? Что, вагоны по ночам разгружать, как некоторые парни?

Родители оторопели, только отцовская вилка звякнула о край тарелки. Настя с аппетитом хрустела винегретом.

– Не только из-за денег, конечно, – продолжала рассудительно, – надо ведь и о будущем думать. Не успеешь чихнуть, как подойдет распределение. В такую дыру зашлют, что сам рад не будешь, и тогда уж деваться будет некуда. Ну ты сама подумай, – она повернулась к матери, все еще сидевшей неподвижно, – протрубить пять лет за одну стипендию, а потом осесть в деревенской школе?.. Мам, огурчики сама засаливала?

– А для кого я хребтину гну? – Отец угрожающе возвысил голос. – Мы тебе разве в чем отказывали? Денег мало посылали? Нет, ты скажи, скажи!

– Сама, – некстати ответила мать и осеклась.

Отец сердито зыркнул в ее сторону. Бабка ухмыльнулась. Настя аккуратно подцепила сыр на вилку. Сегодня он хорошо нагрузится. Какое счастье, что Карл этого не видит. У них

в семье все иначе, все культурно. Ну и ладно; а мы на болоте живем, у нас по-нашему. Сыра не хотелось, но положила ломтик себе на тарелку и продолжала серьезно и веско:

– Я не хочу у вас на шее сидеть, как другие студенты. Между лекциями бегают на почту – вдруг мама с папой денег подкинули?.. – Передернула снисходительно плечами. – Кстати, Карл учился тоже на вечернем, зато и остался в городе, а то пришлось бы вкалывать где-нибудь у черта на рогах. Да ты закусывай, пап; вкусно-то все как!

– Закусывай, Сережа, – наперебой заговорили бабка с матерью, – вон селедочку бери, помидорчики маринованные...

Настя торжественно вытщила якобы забытые в суете шпроты (пригодился громоотвод, пригодился, да в запасе еще кое-что оставалось), отец снова наполнил рюмки. Выпили за праздник – радио было включено громко, оттуда неслись звуки транслируемой демонстрации, – потом «за твои успехи, доченька». Мать принесла из кухни горячую картошку, печенку в соусе: «как ты любишь» и рассказала, какую очередь пришлось выстоять. Когда перешли к чаю с пирогами, настроение за столом установилось совсем благостное, если не считать, что отец время от времени крутил недоверчиво головой, хотя хмыкал одобрительно, слушая подробные Настины рассказы о заводе («я только в утреннюю смену работаю – студентам идут навстречу»), о зарплате, об общении, которое не сравнить по условиям со студенческим. И как растрогалась мать, когда в этом месте Настя прервала

увлекательное повествование и попросила:

– Мам, я у тебя утащу пару наволочек, ладно? Свои как-то приятнее...

Как ни порывался отец устроить скандал, не получилось. Несколько раз гаркнул: «Большую волю взяла! Ты что себе думаешь, если ты...», и эти выкрики сопровождались прилежным гамом, несущимся из радио, так что в результате получилось нормальное праздничное застолье – не хуже, чем всегда у них бывало. Наверное, отец рывкнул бы еще что-нибудь в том же духе, но вмешалась бабуля: «А ну, хватит!.. И закусывай; уж полбутылки усидел. Что ж, Настена приехала на твою пьяную рожу глядеть?». Отец побурчал, но послушно копнул вилкой салат.

Воспитательный процесс, подумала Настя. По делу бабуля его заткнула, потому что, если человек живет на свои, то нечего его жизни учить. Мельком взглянула на бабулю и едва не поперхнулась: старуха смотрела прямо ей в глаза печально и снисходительно.

Слово «бабуля» естественным образом возникло из «баба Уля», хотя у Насти была только одна бабка. Бабуля всегда распоряжалась всеми делами их семьи, да и сейчас, хоть сын с невесткой съехали на новую квартиру, продолжала верховодить легко и привычно. Сколько Настя помнила, бабуля была рядом. Если мать подходила к кровати, бабуля незамедлительно оказывалась рядом и отстраняла ее, как посто-

ронного человека, почему-то занявшего ее, бабули, законное место.

Мама читала Насте сказки, а бабуля рассказывала – и всякий раз добавляла что-то новое. Больше всего Настена в детстве любила слушать (а бабуля охотно рассказывала) истории про Уленьку. Эта Уленька (иногда бабуля называла ее Уляшей) чем-то была похожа на Василису Прекрасную – так много на ее долю выпало горестей.

– Она красивая была? – спрашивала Настена.

Старуха отмахивалась:

– Не-ет, красавицей не была. Косы длинные носила, да; длинные и толстые.

Рисуя Уленьку, Настя старательно обводила по несколько раз косы, так что на бумаге они выходили похожими на трубы, с непременными бантами на концах. Уленькину голову венчал кокошник. В отличие от сказочной Василисы, Уленька не была сиротой, у нее были мама с папой.

– А где они жили? – в который раз спрашивала Настя, и бабуля в который раз охотно рассказывала про деревню («вот вроде нашего поселка»), про то, как Уленька поехала в город «учиться уму-разуму». В другой раз выходило, что Уленька уезжать вовсе не хотела, да «мама с папой заставили», и тогда на лице горемыки Уленьки Настена старательно рисовала слезы, крупные, как фасоль.

Рассказывала бабуля легко и с удовольствием, потому что описывала события и места, о которых не в книжке прочита-

ла, хотя подтвердить достоверность рассказов было некому. Ее семью никто не помнил, да и мало кто кого помнил вообще, потому что сам поселок начал по-настоящему застраиваться только в середине двадцатых годов, не обременяя себя памятью о тех, кто жил здесь прежде. Рассказывала внучке только то, что ребенку понятно, и лелеяла надежду, что когда-нибудь сможет рассказать остальное. О том, например, что, когда в Гражданскую тут прошел первый продотряд, отец успел отправить Уленьку на подводе к родственникам в город, бывший тогда центром губернии. И вовремя отправил: за первым продотрядом пришел второй, третий, а вскоре вся губерния занялась, как пожаром, крестьянскими бунтами; новая – народная – власть предпочла назвать их «бандитскими выступлениями» и посулила «арестовывать всех с 18-летнего возраста, не считаясь с полом», а затем расстреливать. Для внучки все это называлось: «И стала Уленька жить у родных. Скоро учиться пошла».

– А родные добрые были? – пыталась Настена примерить Василисину судьбу на Уленьку.

– Родные-то?.. – Бабка задумалась. – Сначала добрые, а потом... Родня до полдня.

Настоящая, не сказочная Уляша не хотела быть обузой родственникам, а потому попросилась на курсы при губернской больнице. Ее приняли: все ж грамотная, а рук не хватало. Спустя шесть недель стала называться сестрой милосердия и носила теперь на рукаве красный крест. Из дому

вестей не было. Расставаясь, мать велела держаться родных, однако родные вдруг не то что бы показали на дверь, но приветливости поубавили. Да и какая мы тятке твоему родня, говорилось все чаще, разве что в одно небушко глядим.

Глядящие в небушко родственники были напуганы рейдами красноармейцев по домам: как объяснить присутствие дочки расстрелянных?

Так Уляша узнала о судьбе родителей. Поставила чашку с недопитым морковным чаем, собрала свой узелок, а на осеннем ветру поняла, что идти некуда. Покровская церковь, мимо которой ходила каждый день, была открыта. Она поставила свечу и долго смотрела, как она горит, неразличимая среди других свечей, а потом присела в углу на скамью, где ее нашла и разбудила попадья и отвела во флигель, где жил кто-то из причта, позволив заночевать в чуланчике. В том чуланчике раба Божия Улияна ночевала еще не раз, а в ноябре записалась в акушерскую школу. В анкете указала: «сирота», а также «из беднейших крестьян», что было чистой правдой.

Потому и сказала внучке, что Уленька осталась одна-одиношенька: мать и отца убили. Нет, не Кощей Бессмертный и не разбойники, а «лиходеи». Слово Настене очень понравилось. Еще больше понравилось, что Уленькины папа и мама погибли за революцию, отчего на кокошнике появились красные звезды, а слезы стали еще крупнее и обильней.

Конечно, за революцию, подтверждала бабуля: революция

землю дала. Да ребенок разве поймет, что советская власть землю дала, а другие отобрать хотели? Как такое расскажешь... Одни дали землю, а другие давай хлеб отнимать – не земля ли его родит?! Вот и пролилась кровь ее родителей; а скольких еще?.. Что ж, разве власть их расстреляла? – Нет! Милостив царь, да немилостив псарь; виноваты те лиходеи, которых подпустили к власти – везде найдется свой псарь, а новый «царь» о том и не ведает. Потом, через много лет, прочитала в газете «Головокружение от успехов» – и уверилась в своей правоте, так складно и ясно все было изложено. А тогда на размышления о политике не было ни сил, ни времени: тощего пайка едва хватало на акушерскую науку.

– Дальше рассказывай, – напоминала Настя, когда бабкино молчание затягивалось.

Бабуля продолжала повествование о загадочной Уленьке, на долю которой выпало столько трудных и непонятных испытаний, что иногда она представлялась Настене похожей на Марьюшку в поисках Финиста – Ясна Сокола, хотя Уленька не носила железных башмаков, не глодала каменных хлебов и обходилась в своих странствиях без чугунных посохов. Правда, и странствовала Уленька меньше: некогда было. В больнице работала еще и санитаркой – за это можно было ночевать в маленькой комнатушке без окон, на топчанчике в стенной нише; еще один чулан, да кабы последний... Старшая сестра выдала ей ключ, велела запираться на ночь и строжайше наказала никого не водить, «ни под каким ви-

дом». Да упаси Господь! Начавшаяся акушерская практика кого угодно отпугнет от такого вольнодумства.

Однако же не отпугнула молодого красноармейца, который не был наслышан об акушерстве, зато внимательно приглядывался к «сестрице», не обратив внимания ни на конопатость, ни на строго сжатые тонкие губы, а видеть Уляшину гордость – густые бронзово-русые волосы – не мог, ибо скрыты были плотной косынкой, как и высокий лоб. Старался поймать взгляд, когда ее серые глаза хмуро смотрели на градусник; поймав, отводил свой, чтоб не обиделась. Ранение в легкое, полученное в боях с Пилсудским, считал пустяковым, а сюда попал из-за того, что начался плеврит. Зарубцовывался он медленно и плохо, температура прыгала. И без того не богатырь, от постоянной лихорадки парень сделался щуплым, точно ребенок. Подходя ночью, Уляша видела желто-серое лицо в обильном поту, запавшие глаза и кадык – такой большой, словно солдатик давился не адамовым, а самым настоящим твердым яблоком. Докторова микстура от кашля не спасала, и койку солдатика перенесли сначала к самой двери, а потом в коридор, где ему способней было выплевывать свои легкие. Тогда Уленька стала заваривать какую-то траву и строго велела ему пить. Знала, что кашель надо заливать молоком да маслом, а только наука эта была бесполезная; спасибо, хоть мать-и-мачеха отыскалась. Заставляла пить «через силу», только чтобы у смерти отнять: жалела.

– С посохом таскаться любой горазд, – ворчала бабуля, намеренно опуская слово «чугунный», – а ты хворого на ноги поставь, тогда и говори.

Укоризненный голос, Настя знала, к ней не имел отношения, и оставалось терпеливо переждать бабкино молчание, чтобы услышать продолжение: как таинственная Уленька поставила-таки Дмитрия Кузнецова на некрепкие ноги, как венчались в Покровской церкви (где чуланчик), и какими счастливыми голубыми глазами смотрел он на невесту из темных запавших глазниц.

Последней подробностью бабуля не делилась – ни к чему это ребенку. В сказках, чай, тоже не густо: добрый молодец да красна девица – и все тут, а коли написано: «ни в сказке сказать, ни пером описать», то понятно, что не уродина. По той же сказочной канве принялась вышивать бесхитростный узор – мол, стали жить-поживать и добра наживать. А коли жить негде? Где может приткнуться один, двоим места мало. Работник из Митеньки был никакой: шатало от слабости. Недолеченный плеврит обернулся туберкулезом; если удавалось снять угол, то ненадолго – кому нужен чахоточный жилец? Мыкались долго втроем, с сынишкой Сережей, пока, наконец, она не решилась махнуть рукой на город и вернуться. И то: что дом без хозяина сирота, что человек без дома.

Прибыли в ту самую деревню, где Уленька жила прежде, однако дома не нашли. Не нашли и самой деревни – от нее остался лишь погост на холме, где по сторонам от старых

могил беспомощно торчали кое-как сбитые кривоватые кресты, по которым только и можно было понять, где стоишь, а сами могилы густо заросли бурьяном. С верхушки холма было видно то, что некогда было главной улицей деревни, с обветшавшими необитаемыми домами по обеим сторонам, редкими, будто случайно оставленными там и сям; да так, видно, и было, потому что между этими призраками домов зияли серые проплешины пожарищ. Слева от холма, за рощей виднелась дорога и можно было различить какие-то постройки.

Туда и направились.

Здесь и раньше, в царское время, жили люди, только называлось место не поселком, а «там, за погостом, на выселках», с непременно кивком в сторону болота. Селились ненадолго; в основном пришлые да те мужики, у которых не лежала душа к крестьянскому труду, потому как на выселках не пахали и не сеяли, а работой на торфе, судя по всему, прокормиться было можно. Деревенские девки, а с ними и Уленька, ходили на болото за клюквой и своими глазами видели огромную машину, вроде вагона, с высокой трубой и железной рукой, которая выгребала землю. Поговаривали, что будут класть рельсы, чтоб способнее было возить торф. Может, так оно и было, однако девкам строго-настрого запретили наведываться на болото – бог с ней, с клюквой, вон сколько чужих мужиков-то ошивается. Потом началась война, вагон с железной рукой куда-то подевался, а мужики – что свои,

что чужие – пошли воевать; когда вернулись, было и вовсе не до болота: ждала земля.

Она и сейчас лежала, но не усталая и праздная, как бывало осенью, когда урожай собран, а мертвая, никому не нужная, как старуха, забытая в доме и родными, и самой смертью.

В поселке, тогда еще не «городского типа», Ульяна сразу пошла работать в больницу. Митенька все кашлял, торф копать не мог, зато работал пилой и топором: в поселке строили бараки. Разве про такое складывают сказки? Змея Горыныча не убивал, Елену Прекрасную не освобождал, зато куда более нужное дело сделал: поставил дом и принялся копать колодец. Выкопал, но застудил на ветру больную грудь, да так, что на этот раз не помогли ни мать-и-мачеха, ни даже молоко.

В больнице встретились – в больнице и простились.

...Когда, в какой момент Уленька вышла из сказки? Не иначе, как с последним подвигом героя. Сказочные царевичи, бывает, строят не только дома, но и дворцы, и копают колодцы, но в сказках они не умирают (иначе сами сказки не жили бы так долго), как умер Митенька, не успевший стать для внучки «дедулей», а Василисы и Марьюшки не остаются с детьми на руках, как Ульяна осталась с шестилетним Сережей – таким же, как отец, голубоглазым.

В поселковой больничке работал в то время, кроме врача, один фельдшер, поэтому акушерка и медсестра в одном лице была ценным человеком, и отныне обращались к ней не

иначе как по имени и отчеству, хотя Ульяне Степановне не было еще тридцати.

...Тридцати не было, как мужа схоронила – там же, на холме. Была сирота, стала вдова – все равно что дважды сирота. Сколько раз при жизни досадовала на него и срывала сердце, а как не стало Митеньки, такая пустота в доме поселилась – хоть вой. Все чудилось: вот-вот дверь стукнет, послышатся виноватые нетвердые шаги и глухой кашель.

Остался сынок с голубыми глазами-незабудками: накормить, пожурить, приласкать, – да больница, где проводила почти все время. Ульяне часто казалось, что как повязала косынку медсестры тогда, в двадцатом, так словно и не снимала: белая льняная ткань отсекала часть лба и плотно покрывала густые русые косы с бронзовым отливом. Когда вдруг то один, то другой мужик начинали наведываться: «Не надо ль чего, Ульяна Степановна?..», отваживала спокойно и решительно. Разве отчимова любовь согреет ребенка?

Что-то рассказывала внучке, когда та подросла, да не все девчонке и знать надо.

Сереженька рос медленно, и хотя грудью не болел, долго оставался бледным и худеньким. Выручало Ульяшино ремесло. На болоте своя повитуха, которая не только принимает роды, но и помогает их избежать – это называлось «избавиться», – была незаменима. Она владела загадочным и необъяснимым даром: умела по каким-то неуловимым признакам распознавать беременность на самом раннем сроке.

Строга была Ульяна Степановна и неразговорчива. Спросит, бывало, у незадачливой: «Рожать будешь или обратно доставать?», а потом кивнет строгим белым платком. «Избавляла» всегда аккуратно, и если надо было, чтобы муж не узнал, то от повитухи сроду никто ничего не дознался. За работу и сохранение тайны благодарили молоком.

Сереженька вырос. Вот карточка – только что приняли в пионеры, глаза торжественные и радостные, из-за стрижки «под ноль» личико еще худее кажется. Рядом вторая: густой чуб над высоким лбом – совсем взрослый парень, десятилетка за плечами. И в том же – сороковом – году снова «под ноль», взгляд испуганный: забрит.

Да так-то лучше, думала она поначалу. Сын таким красавцем вымахал – вот Митенька бы порадовался! Пусть Родине послужит, а то, как тракторные курсы закончил, на болото рвался. Ульяна не трактора боялась, а водки: там почти все пьют, особенно сезонные рабочие. В армии уму-разуму наберется да в возраст войдет.

Помертвела от тревоги, когда Сереженьку за границу отправили. Вернее, там еще вчера была граница, чужая страна, а теперь стала тоже СССР – всю границу передвинули. Что будет с сыночком в чужом краю, бог знает где, – напротив, через море, писал он, Швеция. А там белофинны рядом! Спасибо, война с ними кончилась.

Ждала – отпустят Сереженьку в отпуск хоть на недельку. Да только одна война кончилась, как другая началась. За две

недели до новой Сережа прислал письмо, а следом за письмом... жену. Мало что иностранку, хоть звали по-русски Верой, да и говорила на русском языке, так еще и беременную. В письме было сказано: «...поженились мы в День Красной Армии, ты люби ее, мама, у Веры никого нет, а я без нее жить не могу».

Сынок, сынок! Не «поженились» вы, а тебя поженили, разве ж не вижу я – через полгода рожать ей. Да какая жена у солдата?..

Вот такая: во всем ненашем, модном; одни туфли бесполезные чего стоят, ремешок на ремешке, а сама неумеха из неумех. По паспорту видно – и впрямь женаты; к тому же написано: «русская», вот те на!.. Спросила Ульяна о родителях – та в слезы, чуть не до родимчика. Свекровь поджала губы и перестала спрашивать, пожалела.

Не невестку – дите.

Девочка родилась в августе сорок первого, когда Сережа воевал, и страшно было думать об этом: вспоминался лазарет, раненые в бинтах и то, что под бинтами... В первый раз за долгое время Ульяна Степановна улыбнулась, увидев родные голубые глазки младенца. Невестка, хоть и неумеха, а родила, почти не пикнув – не оттого, что легко было, а чтоб лишний раз не прогневить свекровь.

– Настасьей будет, – услышала молодая мать, – Настена.

Строга, ох строга была Ульяна Степановна, а для внучки – Баба Уля, бабуля.

Невестка робко пыталась звать дочку Асенькой, но имя не прижилось. Да и сама Вера прижилась далеко не сразу. Когда муж – целый! невредимый! – вернулся с войны, он едва узнал красавицу жену, так изменилась она за четыре с половиной года: сникла как-то, поблекла и огрубела. Зато мать словно помолодела. Именно она первой увидела его из-под своей неизменной косынки и, подхватив на руки Настю, выбежала навстречу.

Что ж, разве она не имела на это право? Не она ли внучку на своих руках вырастила, пока мамаша-недотепа из угла в угол тыкалась? Не просто городская – буржуйка. Ульяна не зря попрекала невестку. Вера рассказала, что отец держал магазинчик дамского белья, а потом этот магазинчик отобрали («и правильно!» – одобрила свекровь), а родителей, а сестру... В этом месте заливалась слезами. Нет, не было в Ульяне Степановне жалости, да и с чего бы?.. Все у нее из рук валится – что в избе, что в огороде. Редиска – и та вырастает деревянная какая-то, огурцы пустые... Тьфу! Когда ее, Ульяшиных, родителей расстреляли, ее никто не жалел – она сама себе дорогу пробила. А эта буржуйка жила где-то на заграничной обочине, окрутила ее сына – и явилась на все готовое. Редко-редко, но Вера взрывалась: «Я такой же русский человек, как и вы!..», на что свекровь, поджимая и без того тонкие губы, неизменно отвечала: «Не-е-ет, не такой! Таких русских, как ты, сюда не звали».

При внучке Ульяна Степановна колких слов невестке не

говорила, однако Настена рано начала замечать, что бабулин добрый, как и положено для сказок, голос меняется, когда она говорит с мамой. Правда, и с другими тетками, которые время от времени стучали в окно: «Ульяна Степановна дома?..», бабуля тоже не была особенно ласковой, но то – чужие. Позднее, уже зная сверлящее слово «свекровь», перестала удивляться как отсутствию бабкиной любви, так и стойкой ее неприязни к матери.

Ульяна Степановна страстно любила внучку, но не баловала. Узнав, что Настена уезжает учиться в ненавистный город, откуда появилась невестка, вначале обмерла: не вернется. Сейчас, сидя в непривычно нарядной кофте и слушая любимицу, вдруг успокоилась: не пропадет. Жалко, что кавалера не привезла – хоть одним глазком бы глянуть; у Ульяны Степановны не только на брюхатых баб глаз наметанный.

«Чем дальше решаешься, тем трудней решиться». О чем это отец говорил, Карлушка не помнил. Он несколько раз вынимал календарный листок с телефоном и опять клал в карман; в обеденный перерыв снял трубку и позвонил.

– Машинописное бюро, – отозвался утомленный женский голос.

В процессе недолгого разговора голос оживился; договорились, что Карлушка зайдет в конце дня.

Министерство тяжелого машиностроения находилось неподалеку от Воздушного моста. Постучав, Карл вошел в комнату, загроможденную столами с пишущими машинками. Яркая кудрявая брюнетка приветливо помахала от окна рукой, и он двинулся по извилистому, как лабиринт, проходу между столами, был усажен на подоконник, с которого тут же вскочил, чтобы представиться – не только брюнетке, но и машинистке за соседним столом, особе с пухлым лицом и разными по величине глазами, – казалось, она подмигивает. Таисия Николаевна кивнула с улыбкой: «Можно просто Тая». Пухлолицая отвела в сторону уголок рта и коротко бросила: «Очень приятно. Муза».

– А, так у вас совсем не много, – Тая быстро, словно касир деньги, пересчитала страницы. – Вам это срочно? Дело в том, что в рабочее время я не могу, только вечерами.

Она вытащила из пачки «Любительских» папиросу и начала разминать красивыми смуглыми пальцами; чиркнула спичкой сверху вниз, резко и решительно, словно что-то бросила.

Не ожидавший такого вопроса Карлушка хотел сказать: «Когда сможете», но, поймав ухмылку соседки, неожиданно для себя выпалил:

– Очень срочно.

Красавица глянула уважительно, кивнула:

– Давайте послезавтра в это же время?

На том и сговорились.

Послезавтра Таисии в машбюро не оказалось.

– Она отпросилась, – объяснила разноглазая Муза, в то время как другие машинистки с любопытством посматривали на Карла.

– Таисия Николаевна мне ничего не передавала?

Муза усмехнулась:

– Не будет же она левую работу здесь держать. Сходите к ней домой. Если вам срочно, – добавила ехидно.

Не чая поскорее выбраться из мебельного лабиринта, придерживая пиджак, чтобы не зацепиться, выскочил и только на улице развернул бумажку с адресом.

Дом стоял рядом с пустырем. Осенняя темнота издали скрывала битый кирпич, консервные банки и прочую дрянь, которая его усеивала, и только нещедрый свет уличного фонаря позволял что-то разглядеть.

Карлушка толкнул дверь парадного. Под потолком горела тусклая лампочка, при свете которой он увидел мужчину, замершего рядом с ним; они одновременно отшатнулись друг от друга. Ч-черт; зеркало. Так и концы отдать недолго.

Квартира номер 11 находилась на первом этаже. Карлушка долго крутил звонок и колебался, не постучать ли. Вдруг запахнула соседняя дверь, выпустив запах жареной рыбы и круглую женщину в расстегнутом ватнике и с ведром в руках.

– Вы в одиннадцатую? Так вы стучите, а то у них звонка нету.

– Почему же? Есть, – Карл еще раз крутанул потемневший латунный рычажок.

– Не-е, этот не работает; такие звонки, по крайности, еще при буржуях ставили. А нормального у них нету, так что стучать надо.

Доброхотка поправила круглые очки и уверенно замолотила кулаком в дверь для наглядности.

Шагов Карлушка не услышал и едва успел отойти. Дверь открыла машинистка, сегодня почему-то с косами.

– Тетя Клава? – удивилась она, переводя взгляд с женщины на Карла, который сообразил уже, что никакая это не машинистка. Сестренка, наверное.

– Так я смотрю – звонок ищут. А у вас только старый, он уж сто лет как не работает. Я говорю: пусть стучат, а то так и до завтра простоите.

– Заходите, – девочка открыла дверь шире. – Вам кого?

Выслушав, пожала плечами:

– Матери нет. Еще не пришла с работы.

Он чуть было не сказал, что машинистка отпросилась, но девочка добавила:

– Или задержалась где-то. Подождите – наверно, скоро придет.

И первая прошла в комнату.

Это явно была самая маленькая комнатенка квартиры, сразу напомнившая Карлу ту, где они жили в коммуналке. Угол и почти половину стены занимала темно-зеленая кафельная печка, около нее стояла детская металлическая кровать. Большое пятно сырости расплзлось по желтой стене, краска местами вспучилась и шелушилась. На полу валялись игрушки, среди которых сидел смуглый мальчик лет четырех – такой тихий, что Карлушка не сразу его заметил.

– Вы садитесь, а то он стесняется, – сказала девочка.

Голова шла кругом. У этой миниатюрной молодой женщины – дети, целых двое? На скатерти с бахромой лежала стопка учебников, а сверху том Майн Рида.

– «Всадник без головы»? – улыбнулся Карл.

– «Морской волчонок», – ответила девочка без улыбки.

За ее спиной у окна стоял еще один столик, совсем маленький, с пишущей машинкой. Поймав Карлушкин взгляд, девочка спросила без интереса:

– Вы насчет халтуры, наверно?

Он не успел ответить. Хлопнула входная дверь, и почти одновременно девочка схватила Майн Рида и втокнула его на полку, в компанию оранжевых близнецов.

– Я вижу, вы подружились с моими детьми, – оживленно заговорила Таисия Николаевна. – Ляля, ты хотя бы чаю гостю предложила!

В комнатухе запахло уличным холодом, табаком и крепкими, терпкими духами. Машинистка взяла на руки малыша и почти сразу опустила со словами: «Беги к Ляле». Повернулась к Карлу:

– Не хочу вас задерживать. Халтурку я дома держу – хорошо, что вы пришли, – и достала толстую папку, откуда вынула перепечатанную рукопись.

– Так много? – удивился Карлушка.

Таисия снисходительно улыбнулась:

– Пять экземпляров, сколько машинка берет.

Сконфуженность Карла ее веселила. Стояла, сложив руки замочком и поочередно щелкая суставами пальцев. Здесь, при электрическом свете, она не казалась совсем молоденькой, как на работе, но больше тридцати – от силы – ей дать было трудно. Еще труднее было представить мать взрослой девочки с кукольным именем.

Неловко вытащил деньги (рубль спланировал на пол бледным осенним листком) и рассчитался.

– Должна вам сказать, – машинистка конфиденциально понизила голос, – сценарий у вас получился... добротный.

Поздравляю! Не знаю, как вы будете его пробивать...

– Дело в том, – торопливо перебил Карл, – что это и не мой вовсе сценарий, это...

– Ну да, ну да, – Таисия понимающе улыбалась и кивала, – все начинающие авторы стесняются, не вы один. Однако мне вы можете поверить – я кое-что понимаю в литературе.

В соседней комнате захныкал мальчик. Карлушка поспешно поблагодарил, сгреб рукопись, завернутую в «Литературную газету», и попрощался. Краем глаза зацепил надпись на учебнике: «ГЕОГРАФИЯ. 7 класс».

Девочка с дымящейся кружкой в руках стояла в проеме двери, ведущей, как оказалось, не в соседнюю комнату, а на кухню. Братишка увлеченно жевал горбушку хлеба.

– Я сделала вам какао.

Она протянула кружку. На поверхности дрожала морщинистая пенка. Он помедлил несколько секунд, обреченно положил газетный пакет рядом с «ГЕОГРАФИЕЙ» и осторожно отхлебнул густой ароматный напиток.

Всю обратную дорогу пытался отбросить слово «добротный», больше подходившее к драповому пальто или колоннам оперного театра, чем к отцовскому сценарию. Дом, в котором он только что побывал, тоже был добротным в свое время, когда никто не шарahalся от роскошного зеркала и керамические плитки не качались под ногами. Но почему сценарий?..

Сидя в троллейбусе, он все еще видел уверенное лицо ма-

шинистки на фоне безобразного темного пятна на стене, видел серьезную девочку с горячей кружкой в руках, тонкую морщинистую пенку на какао. И сам хорош: мог поблагодарить и уйти – спешу, мол; спасибо. Выпил потому, что просто нельзя было отказаться от этого какао.

...А если поставить фамилию отца и отнести отпечатанную рукопись тому, в киностудию? В памяти всплыли клочки трескучих газетных фраз: «бесценное художественное наследие Германа Лунканса», «отец звукового кино», «фильм покориł киноэкраны» и т. п. Между тем вот оно, наследие Германа Лунканса, завернутое в «Литературную газету», хоть завтра снимай! Тут же влез голос человека из киностудии: «От сценария до фильма путь непростой». Почему «непростой», Карлушка не знал. Наверняка в депо найдется вагон старого трамвая. Он рассеянно отогнул газетную обертку:

*«Кондуктор поправил фуражку. Отсвет лампочки скользнул по блестящему козырьку, потом по никелированному замку сумки, похожему на плотно сжатые челюсти. Вот блестящие челюсти раскрылись и вновь сомкнулись, приняв горсть монет.»*

Барышня достает зеркальце. Оно сразу вспыхивает от лампочки и гаснет, но успевает пустить “зайчик” в солидного господина, сидящего рядом. Господин отрывается от газеты, хмурится и бросает на соседку недовольный взгляд. Барышня смущенно улыбается. Господин складывает га-

*зету, приподнимает котелок и приветливо кивает барышне. Проходящий кондуктор почтительно касается пальцами козырька. Одновременно с этим...»*

– Улица Ленина. Следующая бульвар Коммунаров, – объявляет кондукторша.

Карл едва успел выскочить. Троллейбус упруго покати́л дальше. Интересно, а в том трамвае объявляли остановки? И куда подевались кондукторы с моряцкой походкой, в добротной – вот где подошло бы машинисткино слово – форме? Везде отрывают билеты только неприветливые теткы в перчатках с обрубленными пальцами. Единственное, что роднит их с прежними кондукторами, это сумки – точно такие же, как описывает отец, с никелированными челюстями замков, и точно так же висят на ремне, перехлестывая грудь. Или это те же самые сумки?..

Ветер стих, и воздух словно стал мягче. Троллейбусов тогда не было – только извозчики и трамваи. А машины? Машины были, конечно; он отлично помнил то место в рукописи, где *«навстречу, гудя клаксоном, мчитса авто»*. Слово «авто» сегодня звучит старомодно и немножко смешно. мода меняется не только на одежду – на слова тоже. Карлушка не слышал от отца слова «авто» – возможно, оттого, что отец ходил пешком и только изредка садился в троллейбус. Не потому ли в троллейбус, толкнулась странная догадка, что пропали старые трамваи?

...Вовремя вбежал в парадное – начинался дождь. Мать

встретила в прихожей и сразу заговорила:

– Знаешь, кого я сегодня встретила?

Начала рассказывать о какой-то Тоне – или Тане, – но Карлушка быстро потерял интерес. Бережно положил на письменный стол газетный пакет и пошел мыть руки. Сквозь журчанье воды и звяканье посуды из кухни доносился голос матери:

– ...в том же доме, оказывается, что и до войны. Приглашала в гости. Столько лет, говорит, не виделись, а ты никак не зайдешь.

– Ну так зайди.

Карлушка потянулся за хлебом. Только сейчас он понял, что с полудня ничего не ел, и сразу во рту ожил сладкий мучнистый вкус какао.

– Мне только по гостям сейчас ходить, – отмахнулась мать. – Не то настроение.

– Не сейчас, – улыбнулся Карлушка, дую на котлету, – темно уже. Вообще сходи как-нибудь. Она же тебе кто, родственница?

– Кто, Тоня? Нет; с чего ты взял?

В продолжение разговора Карлушка только кивал, во избежание дальнейших недоразумений, и с наслаждением ел, прислушиваясь не к словам, а к интонации, чтобы в нужном месте вставить два-три слова. Совсем недавно они с отцом вот так же терпеливо слушали, как Лариса говорила о ком-то, и обменивались понимающими взглядами: она все-

гда рассказывала очень подробно, и выказать интерес было небезопасно – тогда мать начинала перечислять новые подробности, а потом терялась, забыв, о чем начинала рассказывать. Оба знали об этом и тайком посмеивались. Сейчас ему не было смешно – стул напротив пустовал; он заставлял себя слушать про не известную ему сестру чьей-то жены (или мужа?..), потом про какую-то семью, неожиданную женитьбу сына, про невестку, которая пришла на все готовое, можешь себе представить?.. Карлушка никогда не умел разбираться в чужих родственных связях – все эти хитросплетения навели на него такую скуку, по сравнению с которой курс начертательной геометрии, оставивший в памяти надменное слово «эпюр», показался бы захватывающим романом.

Перед сном он медленно пролистал свежие страницы отпечатанного текста и положил в письменный стол, поверх черной папки. Выключив свет, долго стоял у темного окна. С улицы, тихой даже днем, не доносилось ни звука. Мать, как всегда, легла рано. Карлушка пытался представить, как Настя разговаривает, двигается, смеется у себя дома, в загадочном *поселке городского типа*, но видел почему-то тесную комнатенку с пишущей машинкой, рядом листок копирки, похожей на влажный асфальт, и снова услышал красивый уверенный голос: «Добротный сценарий». Вспомнил мемуарного старика и его слова: «Те же деньги», и то, как Таисия небрежно, почти высокомерно сунула деньги в карман жакета. Этот жест не вязался с безобразным пятном на стене и

запахом сырости, как и слово «добротный», которое словно выставляло напоказ всю жалкость обстановки: ободранную детскую кроватку, дачные парусиновые стулья, перекошенную этажерку с подложенной под ножку газетой, трещину на дверном стекле... Он сам удивлялся, насколько прочно врезалась в память эта чужая комната, где очутился сегодня случайно и которую больше никогда не увидит. Поразила не бедность обстановки – их собственная более чем скромная жизнь в коммуналке, а еще раньше в ссылке, были совсем свежи в памяти, – не бедность, нет, а неуют. Вернее, полное отсутствие уюта, даже скромного и бесхитростного. И вообще, как они все там умещаются, включая отца семейства? Да какое мне дело, разозлился на себя Карлушка, какое мне дело до него? Ну, муж; понятно, что дети сами собой не заводятся; вон тапки стояли в углу: огромные, разношенные до уродливости, с намертво втоптаннами, как слизанными, задниками. Какой-то муж; тапки снял, надел ботинки – *добротные* ботинки, такие же огромные, как эти реликтовые тапки, – и ушел на работу. Во вторую смену.

На узкой белой кровати сидели в ряд старухи. Они были в одинаковых белых платках, туго завязанных под подбородком, и то ли грозили Лельке темными пальцами, то ли подзывали, чуть кивая. Идти было страшно, а не идти нельзя. Девочка шагнула вперед. И комната, и старухи были давно знакомы: слева зашторенный балкон, в углу икона с лампадой, а другого света совсем нет. Кровать, на которой сидят чужие старухи, тоже знакомая: на ней когда-то лежала, чтобы никогда больше не встать, Лелькина прабабка. Девочка раньше уже видела этих старух: они так же кивали. Живот стянуло тоскливым страхом: она знала, что будет дальше. И действительно, как осторожно ни пыталась она поставить ногу, планка паркета проваливалась. Балансируя руками, она чудом удерживалась на ногах, но с каждым шагом паркет ломался, как сухое печенье, и проваливался, а старухи уже не кивали, а качали укоризненно головами, и спасения не было.

– Ольге скажи вставать, мне надоело вас будить!

Сержант с утра злой. Скажу, что в школу не пойду, горло болит.

Не открывая глаз и не поворачивая головы, могла с точностью определить, кто чем занят. На кухне льется вода: мать умывается. Льющаяся вода не заглушает равномерное мягкое шорканье из прихожей, а если бы и заглушало, то по рез-

кому, въедливому запаху скипидара стало бы ясно: Сержант надраивает сапоги. Называть отчима дядей Володей Оля так и не привыкла, хотя сам он называл ее только полным именем. А интересно было бы посмотреть на его реакцию, попробуй она спросить невзначай: «Скажи, пожалуйста, Владимир, сколько времени?». Глаза бы выпучил. Представить Сержанта растерянным было особенно приятно.

«Московское время семь часов тридцать пять минут. В эфире “Пионерская зорька”», – торжественно пообещало радио. И сразу же нетерпеливо запел горн, зазвучали звонкие голоса каких-то пионеров в развевающихся галстуках, вскочивших ни свет ни заря, – другими представить их было невозможно. Ни у кого из этих живчиков дома по утрам не воняло скипидаром, не шлепал тапками Сержант в галифе и белой нижней рубашке, а на стене не шелушилось пятно от сырости, похожее на двугорбого верблюда, ни у кого; иначе не пузырилась бы в них эта жизнерадостность, нисколько не подходящая к мрачному ноябрю. У них в седьмом «А» все носили галстуки, как и другие пионеры в других классах, но никто из них не был похож на этих... из «Пионерской зорьки», хотя она в глаза не видела ни одного.

И будильник проспала, хотя обычно просыпалась не от будильника, а от того, что мерзли ноги. Так бывало каждое утро, когда обе они просовывались между железными прутьями кровати и покрывались мурашками. Кровать была тесна, так как предназначалась для новорожденного брата, ко-

торый проспал в ней до года с чем-то, но так беспокойно, что матери надоело вставать к нему по ночам, и она стала укладывать его с собой на диване. Подумав, отчим снял веревочную сетку, сбросил матрасик и раздвинул синий металлический скелет. Обе спинки, почувствовав разлуку, рухнули навстречу друг другу; не помогло. Кроватка была сконструирована с экономным расчетом на рост младенца: половинки основания раздвигались и закреплялись, как дверной засов, и с таким же лязгом. На матрац экономия не распространялась; пришлось купить новый, длиннее. Отчим озабоченно крутил головой: сплошные расходы. Мать улыбалась красиво и беспомощно. «Могу спать на раскладушке», – буркнула Олька, ибо желала этого всей душой. Сержант отрезал: «Ты сначала заработай на раскладушку! Ты знаешь, сколько раскладушка стоит?»

Раскладушка не стоила ничего: ее привез крестный и сам же водрузил у стенки. Столь привычная в квартире у тети Тони, здесь раскладушка стала похожа на иностранку, волей случая оказавшуюся в трущобе. Пожилой возраст «иностранки» сказывался, пожалуй, только в легком похрустывании суставов, когда она под руками крестного ловко расправила поджарые деревянные конечности. «Английская, – гордо произнес дядя Федя, – еще в мирное время покупали». Разгладив ладонью тонкий полосатый тюфячок, добавил: «Внутри морская трава, Леленьке будет удобно». Конечно, удобно! – обрадовалась тогда Олька.

Так и оказалось. Несмотря на то, что отчим всегда ругал тех, которые «сплавляют свое барахло, хотя у самих денег куры не клюют», спать на английской раскладушке ему оказалось очень удобно.

Олька росла быстро, и теперь, в ее четырнадцать, раздвигать экономную кровать стало некуда. Ночью ноги как-то сами проталкивались сквозь железную решетку и замерзали, однако сегодня она лежала, сжавшись в комок, хотя теплее от этого не становилось. Олька чувствовала, как маленькая рука щекочет ей ухо: Ленечка. Осторожно протянула под одеялом руку, быстро схватила теплую ладошку, и мальчик радостно взвизгнул.

– Сколько можно будить? – недовольно цедила мать сквозь зажатые во рту приколки. – Вставай!

– У меня горло болит.

Голос вышел таким хриплым, что мать обернулась:

– Опять?! Померь температуру. – И тут же, без перехода: – Где Лешкины рейтузы?

Отшвырнув расческу, Тая начала одевать сынишку.

Господи, ну хотя бы тридцать семь и пять, пожалуйста. Первый урок география. Полезные ископаемые Сибири. Глава в учебнике начиналась многообещающей фразой: «Западная Сибирь очень богата полезными ископаемыми», но Морской Волчонок в это время мучился от жажды в непроглядном мраке трюма, так что дочитать о полезных ископаемых не удалось.

– Дай сюда, – мать протянула руку. – Давай, говорю, хватит давить!

Вытянула трубочкой накрашенные губы и стряхнула градусник:

– Отведешь Лешку в садик и отправляйся в поликлинику. Скажешь, что тридцать семь и семь. И шевелись, шевелись!

– Сама отведи, – встрял Сержант.

Уже в кителе, но все еще в тапках, он выглядел так смешно, что Олька с трудом сдержала смех.

– Когда «сама»? Я опаздываю! Ляля ответет.

– Она ребенка заразит!.. Одень хотя бы, я отведу. Я что, не опаздываю?

Еще несколько раз хлопнула дверь прихожей, потом входная. Раз, другой... последний.

Ушли.

Олька быстро обвела взглядом комнату. Мать может вернуться, если что-то забыла, как перчатки в тот раз. Пока что везло: Бог оказался на две десятых градуса дальновидней, а то мать сказала бы, что тридцать семь и пять не температура, и пялиться бы Ольке сейчас у доски в карту, где Сибирь густо, как мухами, засижена полезными ископаемыми в виде треугольничков и квадратиков, иди знай, где что. Впереди свободный день, прекрасный и неожиданный. Не хотелось пока думать, что этот день подпорчен двумя обстоятельствами. И все-таки: не хотелось, а думалось. Во-первых, непонятно было, когда вернется Сержант – может проторчать в

своём оркестре допоздна и потом объяснять матери пьяным голосом: халтура, мол, подвернулась, что означало похороны и, конечно, на самом дальнем кладбище, а потом автобус долго ждали; вот деньги. Он швырял мятые бумажки на стол, чего Оля не видела, но знала, что именно так происходит, а не видела, потому что важно было сделать вид, будто спишь глубоким сном. Помогало это не всегда – мог поднять. «Чаю горячего могу я в собственном доме получить?..» – «Оставь ребенка в покое!» – патетически вступалась мать и делала только хуже. «Ребенок? Она уже не ребенок. Ольга, накрывай на стол, кому сказано! Имею я право на горячий ужин, в конце концов?..» Приходилось срочно жарить картошку, варить сардельки, а потом он снова кричал о чае в собственном доме, потому что тот, вскипяченный по первому требованию, давно остыл. С трудом верилось, что второй час ночи. В комнате становилось душно от запаха еды и тяжелого, сладковатого духа перегара, оконное стекло запотевало... Могло быть и так, что никаких похорон не было – Сержант появлялся ненадолго, пьяный, раздраженный и злой, и требовал деньги у матери, а потом уходил снова.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.